

Елена Шумара

Подборка «Мы, птицы»

Ранний июль

Камушек пнешь, он прыгает: раз-два-три,
трещинка, ямка, после – в прохладный люк.
Ляжешь на край и слушаешь, как внутри,
в люковом горле, звон переходит в плюх.

Чавкая, пьет лохматая псина Джек,
в миске качает щепки и корабли.
Лысый Юсуф в переднике, он узбек,
перед подъездом жесткой метлой пылит.

Смотришь на мир сквозь стеклышко –
вот те на, мир зеленеет, весь травяной. Жара.
Облако спит, похожее на слона.
Слон уплывает к морю – позагорать.

Липнет, как снег, к шнуркам тополиный пух,
где-то в сирени – горькая пятерня.
Бабка седая сыплет в окно крупу,
мелкие птички в этой крупе звенят.

В кухне отец натачивает ножи,
гладкий поребрик, словно пирог, нагрет.
Кто я, зачем и чисто ли буду жить?..
Птички смеются и не дают ответ.

Ницшеанское

И умер Бог. Холодной статуэткой
лежит, пустой, на письменном столе.
Он заходил не часто и не редко,
не ныл, не звал и вроде не болел.

А вот поди ж ты. Умер. И в осинах,
осенне-жарких, – шёпот и тоска.
Пройдя лазурной жизни половину,
он лёг на стол. Изрыта и тонка

меж нами полоса. И время – оно.

Дрожит десница серенького дня.
И ни триад, ни нравственных законов –
ни в небе звёздном, ни внутри меня.

Стучат в окно земные птицы.
Ой ли – клюёт пшено крылатое ничто.
Но, говорят, единственно из боли
(и воли) новый вырастет цветок.

А Бог лежит, не веруя в начало,
конечный пункт и всё, что посреди...
и осень обрисовывает алым
неясный контур тающих седин.

Старушки

Наутро небо чихало кашей,
и дом спросонья скрипел и кашлял.
Лежали, словно бокалы в вате,
старушки в тёплых своих кроватях.
Старушки зубы снимали с полки,
и пол неспешно клевали палки.
Зевали кошки на всех матрацах,
в ковшах, толкаясь, варились яйца.

А там, у дома, скреблись лопаты.
Старушки рьяно чесали патлы,
и, в кофты кутаясь одиноко,
сползали в кресла у зимних окон.
С таблеткой, чаем и карамелью,
в тряпичных тапках, побитых молью,
кто полусидя, кто полулёжа,
они глазели на жизнь прохожих.

Одной старушке в очках для близи
не видно было, «что дейтся снизу».
Она окно, побеждая хилость,
открыла и... за окно свалилась.
Другие стали трястись от смеху
и в этом, кажется, дали маху.
Они в проулок, белы и хрупки,
тотчас посыпались снежной крупкой.

Но, не достигнув твердот асфальта,
старушки сделали пару сальто

и, будто шарики с лёгким газом,
в седые тучи взметнулись разом.
Они летели, надув подола,
внизу постелью стелились дали,
внизу мелькали огни и лица...
а город думал, что в небе – птицы.

Казалось, небо счихнёт бедняжек
(как рано утром счихнуло кашу).
Но нет. Старушки летели клином
с подагрой, тиком, холестерином,
на юг, сквозь мглу и дождя осколки.
Остались дома родные скалки,
пакет пакетов, штанцы и блюдца...

Я загадал: пусть они вернуться.

Нельзя

Мама сказала: если погладить кошку,
ту, что за домом лижет седое пузо,
я стану лысой...
В правую руку ложку!
Левой вкуснее, левой нельзя... Рейтузы

мелко кусают ямочку под коленкой.
Вот бы содрать их и –
ших-ших-ших по коже!
Кошке везука: ходит на четвереньках,
попой сверкая. Я бы хотела тоже.

Тапки снимаю, лезу на ручку кресла.
Нос об окошко плющится поросычьи.
Кошка внизу зевает.
Куда полезла?!
Завтрак остынет. Живо, пока горячий!

Гадкая манка. Шумно в тарелку дую.
Можно ириску?
Кашу доешь сначала!

Волосы... ну их. Мне бы её, седую,
гладить по пузу. Чтобы она мурчала.

Разговор с таксистом

Трасса горячая Липецк – Тамбов.
Мы на такси
едем.
Сохнут подсолнухи в рыжих жабо,
небо горит
медью.

Дымка лимонная над зеленцой –
это поля
рапса.
Солнце, усталое, прячет лицо,
у духоты
в рабстве.

Он говорит: вот такая земля,
в вашем краю –
то же?
Псы за окошком неслышно скулят
на земляном
ложе.

Я говорю о студёных камнях,
чаек морском
крике...
А на развалинах южного дня
спит пастернак
дикий.

Мы говорим – я, земная, и он,
зоркий шофёр-
аргус.
В косы пшеничные мягко вплетён
тоненький наш
август.

Тонем, чужие, в ночном янтаре,
плавится до-
рога.
Рвётся разметка на сотни тире
в жарких руках
Бога.

Не-птичье

Листья дымят, окученны, свернуты по краям.
Птицам они наскучили. Птицы летят.
А я?

Я на скамье, подсудная, с перьями, но без крыл.
Стирная и посудная. Голос мой блёкл
и стыл.

Там, наверху, кольцованы, клювом находят клюв.
Детная, безотцовая, я третий день
не сплю.

Другость моя треклятая... Не различаю лиц.
Тысяча двадцать пятая в тесном строю
не-птиц.

Серая птичья клинопись маревна и пуста.
Писано: прежде вылупись, только потом –
летай.

Листья дымят, горчичные, я остаюсь земной.
Те, кто уже оптиченны, не прилетят
за мной.

Папа

Помню, он был... хороший такой, носатый,
борщ любил, в полоску носил пиджак,
в поле чистом рядом со мной лежал
и усмехался: «вредная колбаса ты».

Вот он идёт, я вижу, во рту травинка,
на штанах – репейная голова...
кромка леса бархатна и крива,
в небе разлиты свежий кефир и синька.

Эй, говорю, давай кто быстрее до дома!
Трёт платком сырое лицо – жара,
давит молча сытого комара,
пальцем рисует линию окоёма.

После басит, как поезд товарный: «Аю?..»
Он большой, рука его горяча,
солнце выжгло розочки на плечах,

и лепестки белёсые опадают...

...

Вот он, стоит один на опушке леса –
пять его и десять моих шагов.

Я шагаю, таю, и... ничего.

Было их десять и остаётся десять.

Ёлками пахнет, солнце ползёт на запад,

небо снова красится голубым,

я же помню: сильный, носатый, был.

С тоненьким шрамом под левой лопаткой. Папа.